**Жорж Нива**

**О двух подвигах Солженицына**

**Опубликовано в журнале:**[**«Звезда» 2009, №6**](http://magazines.russ.ru/zvezda/2009/6/)

***Эссеистика и критика***

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

Жорж Нива (род. в 1935 г.) — славист, специалист по классической и современной русской литературе, исследователь творчества А. И. Солженицына. Почетный доктор Института русской литературы АН России (Пушкинский Дом). Живет во Франции, в деревне Эзри.

© Жорж Нива, 2009

*Жорж Нива*

**О двух подвигах Солженицына**

Прошедшим летом, узнав о его смерти, я почти целиком перечитал “Красное колесо”. Этот огромный массив написанного похож на бальзаковский. Я подумал о стихотворении Пастернака “Бальзак”: “[Он] ткет Парижу, как паук, / Заупокойную обедню”.

Однако у каждого из этих двух европейских атлантов был свой источник энергии. Один из растущего XIX века выжал энергию созидающегося нового мира. Другой распрямил свою душу, прошедшую через мытарства и через развалины социалистической утопии — “главного романа” русского XIX века, по выражению Пастернака.

Кем стал бы Александр Исаевич без ГУЛАГа, без личного своего пути борца, мы не знаем, хотя сам он попытался ответить на этот вопрос. Уже в восемнадцать лет он задумал писать о русской революции (“Р-17”), и, конечно, этот замысел все равно сделал бы из него диссидента. Судьба “Взвихрённой России” (это название удивительной книги Алексея Ремизова) все равно — при его точном математическом уме, при его безотказной любви к правде — не оставила бы его в покое, все равно он создал бы свое “Красное колесо”, возвел бы эту вторую из созданных им “глыб”, посвященную русской революции и вырождению, затмению русских душ и судеб. Но сама судьба заставила его взяться за первый геркулесов подвиг, это она вынудила Солженицына к возведению первого из двух его литературных соборов — “Архипелага ГУЛАГ”.

“Один день Ивана Денисовича” — первый камень в этой постройке. И первый диалог — европейский диалог об истории и прогрессе, о существовании Бога и скептицизме. Он происходит в ГУЛАГе, но по всем правилам классицизма (с соблюдением единства места, времени и действия). А ночной диалог баптиста Алеши и честного мужика Ивана (праведника, о своей праведности не подозревающего) — первый случай общеевропейского экзистенциального философского диалога в солженицынском изводе.

Второй случай — в романе “В круге первом”. Да, хронотоп другой, нежели в “Волшебной горе” Томаса Манна, написанной накануне европейской катастрофы — Второй мировой войны, однако диалоги наследника карбонариев Сеттембрини и иезуита Нафты перед недоумевающим юным Касторпом — это диалоги Рудина с Сологдиным перед Глебом Нержиным. Это тип европейского диалога, идущего от Гегеля, — о роли свободы и о роли насилия в истории; о праве убить тирана. Это все та же философская проблема, что находим мы и у стоиков, и у Фомы Аквинского, и у Герцена.

В “шарашке” ученые-зэки внутренне освобождаются. Здесь перед нами стоический вариант простого, но столь трогательного диалога Алеши и Ивана.

Третий этап — это вершина, это поэтический собор “Архипелага ГУЛАГ”: здесь и философское воспитание автора-зэка при встрече со столь разными и богатыми умами (со всей Европы), и исповедь, и иронический трактат о зэках, и гимн бунту в Экибастузе, и диалог с Шаламовым о том, каково же влияние лагеря на человеческую душу — здесь она окончательно очищается или окончательно деградирует?

Есть в православном богословии понятие “апокатастис” — всеобщее восхождение душ человеческих. Ада не будет, все в последнем итоге будут восстановлены, возвращены к Богу.

Так Солженицын, автор “ГУЛАГа”, первой своей “глыбы”, идет вверх сам и ведет вверх своего читателя. Поэтому-то “Архипелаг” и изменил нас всех, и каждый из нас, как это очень просто сформулировала Елена Цезаревна Чуковская (одна из “Невидимок”), открывает книгу одним человеком и закрывает другим. Не потому, что автор историк, великий историк (по oral history, как говорят сегодня) и раскрыл нам столь много граней этого архипелага, — это заслуга важная, однако в поисках правды участвовали и другие авторы. Но прежде всего из-за той метанойи, что происходит в читателе параллельно метанойе самого автора.

В своей нобелевской речи Солженицын ссылается на платоновскую триаду Красоты — Правды — Истины. До него Альбер Камю также сослался на Платона, и это, конечно, не случайно. Что Красота, что какое-то общее ощущение красоты Создания проникает все кульминационные моменты творчества Солженицына — это чувствуют все, кто читает его.

Но и в другом смысле можно обнаружить у него сокровенную связь Красоты и Правды, эстетики и этики. Велик он тем, что не только сплел вместе, как в жизни, так и в своих писаниях, законы этики и законы эстетики, но и в развитии своего творчества повиновался этому внутреннему голосу. Взлет “Архипелага” соответствует взлету души зэка, освобожденной тюрьмой.

Но иная судьба — как эстетическая, так и этическая — у второй “глыбы”, у “Красного колеса”. Огромный этот труд, исторический и романный, посвящен поискам потерянной правды: когда, как, почему Россия сошла со своего естественного пути? Все поэтические и философские свойства Солженицына в этой глыбе остались. Но — обобщаю — Правда затерялась, русские люди изменили лицо, забыли о правильном “строе” жизни — своей жизни и жизни своей нации. Речь уже не идет — или еще не идет — о “Фабрике бесчеловечности”, но о Фабрике какой-то всеобщей лжи. Опустилась над Европой всеобщая “европейская ночь” (люблю это выражение поэта Владислава Ходасевича), началась великая, кровавая и безумная “европейская междоусобица”, как говорил немецкий историк Эрнст Нольте.

Но огромная историческая и романная солженицынская машина мелет не европейское, а русское зерно. Он взглядом впивается в лица сотен и сотен исторических и вымышленных персонажей. Прочтя все, что можно было собрать, он вживается в каждого. В императора и императрицу, в Столыпина, в Гучкова, в Милюкова, в адмирала Непенина, которого разъяренная толпа вот-вот зарежет на улице, в солдат, в офицеров, в своих любимых alter ego — полковника Воротынцева (из первых пьес перешедшего в романы), в казацкого гениального писателя Крючкова, в батюшку Северьяна, в грешницу Зину... Процесс вживания доходит до галлюцинации, и страницы об этих галлюцинациях в “Угодило зернышко промеж двух жерновов” — из самых ярких, поразительных, по-герценовски энергичных страниц его публицистики. Он как бы родился не в 1918 году от уже погибшего отца, но вместе с отцом прожил три жизни, три поколения русских.

И вот перед нами эти осколки в 6600 страниц — осколки куда большего труда, задуманного не в четырех “узлах”, а в двадцати одном.

“Красное колесо” свидетельствует о большой, даже поразительной эволюции письма Солженицына. От первого до четвертого узла идет растущее раздробление его поэтики. Фрагменты становятся все короче и острее. Идет разброд, разбег не только общества, толпы на улицах Петрограда, но в самом тексте. Раздробление виденного влечет за собой раздробление фабулы. Размах визионера побежден в каком-то смысле этой новой фрагментарностью наррации. На этом этапе своего творчества Солженицын во многом авангардист. Конструктивный принцип (платоновская триада) и деструктивный, дискретный принцип сталкиваются, борются; рождается новая поэтика, основанная и на поражении визионера, и на победе поэта-нарратора.

Исторические и нарративные границы — всегда главная проблема историка. Так и здесь: от конца XIX века до апреля 1917-го, конца четвертого узла. И даже до 1945-го, если взять во внимание тот огромный конспект намеченного и ненаписанного, что он нам оставил. Апрель 1917-го стал концом этой Второй русской Смуты.

В этой фрагментарности, в этой полунеудаче — величие “Колеса”. Воистину этика и эстетика тут все время подавали друг другу руки. Контекст подвига борца изменился. Но поэтика борца останется в “Архипелаге”, как поэтика Герцена-человека осталась в поэтике “Былого и дум”.

Нас, мое поколение, Солженицын изменил, и Книгу его мы закрыли другими. Но и последующие поколения, я думаю, я верю, тоже закроют книгу его жизни другими.

Я уже приводил стихи Пастернака о Бальзаке. Бальзак “брал Париж в кредит”. Солженицын не брал Россию в кредит, а попытался платить долги России. Долги перед собой, перед народом ее. И на это ушла вся его титаническая энергия.

Долги не все оплачены. Разбрелась Россия, “заглохла последняя вера терниями”.

Но маленький Вергилий Солженицына, Иван Денисович Шухов, остался навсегда с ним, с нами, с Россией, а если смотреть дальше — то и с Европой.

С ним мы вошли в XXI век.